



УДК 82'09

ПИСЬМО И НАСИЛИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ АНТИДЕСТРУКТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ ПИСАТЕЛЯ В ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА

С. А. Колесников

*Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет*

e-mail:

SKolesnikov@bsu.edu.ru

В статье рассматриваются вопросы формирования антидеструктивной концепции личности писателя в художественной культуре XVIII в., проводится историко-литературоведческий анализ изменения уровня насилия в российском обществе и роли художественной литературы в этом процессе.

Ключевые слова: русская литература XVIII в., деструктивность, художественная литература, концепция личности писателя, Петр Первый, Екатерина Вторая.

Одним из ведущих признаков художественной литературы XVIII в. становится ее стремление проникнуть практически во все «поры» культуры этого периода, «превратиться в самостоятельную общественную силу» [1, с. 85], сформировать новую концепцию творческой личности. И в первую очередь, эта художественно-культурная экспансия проявлялась в изменении уровня насилия в обществе, в изменении отношения общества к насилию.

Показательна четкая историко-культурная динамика проекта «анти-насилия». Так, 6 ноября 1763 г. в Правительствующий Сенат был направлен запрос о разрешении применить пытку в отношении Дарьи Салтыковой, печально известной помещицы-садистки Салтычихи. Такого разрешения выдано не было. Мало того, в 1760-е гг. в российском правительстве шли дебаты о возможности введения таких ограничивающих пытку норм, как, например, «тяжесть пытки не должна превышать тяжести положенного по суду наказания» или «пытка недопустима в деле, где получены бесспорные доказательства вины».

По сути, в какие-то два десятилетия, с 1730-х по 1750-е гг., произошел кардинальный перелом в культурно-общественном сознании, по крайней мере, в правящей верхушке, вылившийся в пересмотр востребованности насилия. И если еще в 1738 г. было возможным пытать 13-летнюю чревоушательницу Ирину Иванову [2], то с 1760-х гг. становится сложным применение пытки даже к жесточайшим преступникам.

Литература становится одним из средств снижения деструктивного общественного устройства. Государственная жестокость не исчезает, но подпадает под эстетическую регламентацию. В. Н. Топоров так оценивал процесс усиления гуманности: «Государство узаконивает жестокость, регламентируя не столько степень наказания, сколько разнообразие их» [3, с. 357]. И если царевич Алексей в 1712 г., стремясь избежать отцовского экзамена по черчению, «умыслил испортить себе правую руку», выстрелив в свое тело, т. е. находил единственную защиту от жестокости императора-отца в страдании, в боли, то уже Екатерина выговаривала в 1769 г. Н. И. Новикову со страниц майского номера журнала «Всякая всячина»: «Думать надобно, что ему бы хотелось за все да про все кнутом сечь». Страдание во времена Петра превратилось в разменную «монету» коммуникаций. Екатерина, в том числе и через формирование новой концепции писателя, стремилась снизить девальвацию достоинства личности.

Роль позиции писателя в снижении деструктивных общественно-государственных отношений после смерти Петра I последовательно нарастает. Уже А. Кантемир, «птенец гнезда Петрова», будет говорить в «Сатире на зависть и гордость дворян злонаправных» (1730): «...зверям лишь прилична жадность крови», а в 1771 г. А. П. Сумароков в трагедии «Дмитрий Самозванец» от лица отрицательного персонажа произнесет: «Наполнил бы я всю престольную страхом, Преобратил бы сей пре-



стольный град я прахом...», тем самым, отказывая насилию в эффективности социального устройства.

Если в петровские времена «строгость» лежала в основе государственно-общественных отношений, то с середины XVIII в. вектор развития общества меняется: не телесная боль становится основным «регулятором» между властью и обществом, а телесно-разумное восприятие действительности. Петровская пытка выявляла истину через истязание тела – просвещение Екатерины через многомерное телесное восприятие выясняла истину уже с помощью «разумности», а не страдания.

Открытием культуры второй половины XVIII в. стало убеждение, что пытка разума, страдание чувства не менее, а то и более изощренная пытка, чем истязание тела. Признание душевного страдания наравне с физическим – этому учила российское общество новая концепция писательства. Так, у М. В. Ломоносова в «Утреннем размышлении о Божием величестве» сквозит мысль о душевном страдании одиночества, Сумароков в «Дмитрии Самозванце» говорит о мире как пытке для чувств, трагически погибший Я. Б. Княжнин в «Вадиме Новгородском» писал о «лютом огне в слабом сердце»...

Слово как «дескрипция» кнута, а писатель как владеющий этим кнутом – такой «механизм» социального управления предлагает литература второй половины XVIII века.

Локус художественного текста в условиях секуляризации и атомизации культуры превратился в объект пристального внимания. Книжное слово петровского времени подхватывает только зарождавшуюся традицию, озвученную еще Симеоном Полоцким: «Ничто так не расширяет славу, яко печать» [4, с. 9]. Но теперь объектом сакрального поклонения становится не трансцендентальный объект, а конкретный носитель высшей государственной власти. В зловещей формуле «слово и дело» акцент переносится на слово. Примечательно, что Петр Первый, создавая собственноручно «Артикул Воинский», ввел специальную статью, «чтобы во время драки не звали на помощь своих товарищей». Роль даже импульсивного слова признавалась значительной и опасной.

Конечно, процесс «переориентации с мира невидимого на мир видимый» (Л. А. Черная), переход со слова «промысленного» на печатное, происходил не мгновенно, да и не мог, видимо, полностью подчинить себе культурное национальное пространство. Потому, например, имел место «переходный», бидоминантный, физико-теологический дискурс концепции писателя, представленный, напр., у Ломоносова. Именно Ломоносову принадлежит, видимо, одно из первых определений языка новой культуры как синтеза государственности и теологии, как «объединяющего, связующего для всей Империи» [5, с. 289].

Важной спецификой культуры XVIII в. становится ее полиморфизм, что и наложило своеобразный отпечаток на формирование антидеструктивного потенциала литературы.

Социально-культурное значение концепции писателя XVIII в. также носит принципиально полиморфный характер. Показательна биография «главного» писателя петровского времени – Ф. Прокоповича, соединившего в себе широкий спектр культур, подчас взаимоисключающих друг друга. Способность соединять культуры не только синхронно, но и диахронно позволила Ф. Прокоповичу стать «соединительным звеном между поэзией русского классицизма и древнерусской литературой» [6, с. 71].

Существенных результатов полиморфная культура достигает в творчестве М. В. Ломоносова. Достаточно привести развернутый список книг, которые приобретает в Марбурге в 1736 г. студент Ломоносов. Здесь и Вергилий, Овидий, Марциал, Сенека, Эразм Роттердамский, Мольер, Вольтер, Готшед, Ариосто, Тассо, Гварини [7, с. 14]. Вхождение в полиморфную культуру позволяло Ломоносову непосредственно в творчестве диахронно синтезировать различные эпохи. Так, при составлении списка идей для «живописных картин из российской истории» в январе 1764 г. он предлагает следующие темы: «взятие Искореста княгиней Ольгой», «Совет Владимиру духовенства», «Право фамилии Романовых на престол всероссийский» и т. д.



Естественно, что своего пика полиморфизм культуры достигает во времена правления Екатерины II.

Литература предлагала варианты новых моделей социального поведения, основанных именно на свободе творческой личности. Так, становится возможной именно в литературной сфере пост-петровского времени достаточно свободная дискуссия с высказыванием своих позиций, как это было, например, в спорах Сумарокова, Ломоносова и Тредиаковского о путях развития литературы. Сумароков в пьесе «Гамлет» (1748) критикует поэтические позиции своих оппонентов, при этом важным становится то, что дискуссия ведется без обязательного уничтожения своего оппонента, как было во времена «литературных» споров Симеона Полоцкого и протопопа Аввакума. Тот же Тредиаковский получает возможность свободно высказывать свои лингвистические мнения по поводу «разделения разговорного и книжного языка, утверждая несходство европейской и русской языковой ситуации» [8]. В контексте увеличения свободы можно рассматривать появление пародии в качестве формы дискуссии с противником, как например, «Ода вздорная» (1759) Сумарокова, и басни как жанра, позволяющего использовать богатства «эзопова языка»...

Творческая свобода особенно проявилась в новых взаимоотношениях между самими литераторами. Становится возможным появление индивидуальной творческой позиции, самостоятельного взгляда на перспективы развития литературы в частности, и культуры в целом. Споры между литераторами становятся «пробными шарами» создания относительно независимых оценок и экспертиз общественных событий. Литературное противостояние, заканчивающееся в XVII в. физическим уничтожением оппонента, как это было в споре Симеона Полоцкого и протопопа Аввакума, в веке XVIII приобретает менее деструктивный характер, и в этом тоже урок милосердия, преподанный литературой обществу. Когда Прокопович предлагает путь развития литературы от мистической созерцательности к богословскому рационализму, он не призывает к уничтожению оппозиционных мнений, даже в борьбе со своим рьяным противником С. Яворским Прокопович действует в рамках убеждения, доказывая своей современной эрудицией неактуальность герметично-патриархального мировоззрения.

Позднее Ломоносов сможет доказывать уже Прокоповичу необходимость расширения метафорических средств над логической ясностью, используя вполне цивилизованные средства литературной полемики. Тредиаковский в споре о силлабическом и тоническом стихосложении, при всей резкости высказываний в адрес С. Полоцкого, С. Медведова, М. Ломоносова будет придерживаться относительно толерантных тональностей. Антидеструктивным результатом обретения литературой правил ведения «мирной полемики» станет творчество Г. Р. Державина, его совмещение легкой иронии, юмора с гражданской ответственностью и четкой поэтической позицией.

И, конечно, сама тематика произведений учит российское общество свободе. Здесь и креативный авангардизм Тредиаковского в его переводе «Острова любви», здесь показательное в своем названии ода Радищева «Вольность», и приватность в стихотворениях Державина, декларирующего «Спокойствие мое во мне!», и многое другое. Власть, под влиянием освобождающейся литературы, шла на относительное расширение творческой свободы, достаточно вспомнить Указ Екатерины II в 1783 г. «О позволении во всех городах и столицах заводить типографии и печатать книги на российском и иностранных языках». При этом важным формообразующим элементом новой литературной вербальности становится рекомбинация литературой социально-сословной системы коммуникаций. Традиции «выпадения» из сложившейся системы средневекового этикета, конечно, имелась в русской культуре, достаточно вспомнить уникальное в своей над-этикетности «Моление» Даниила Заточника [9]. Но в XVIII в. происходит практически первая встреча-противостояние между Литературой и Империей.

Новая форма диалога литературы и власти в начале XVIII в. начинается, естественно, с комплиментарности со стороны литературы, причем показательно, что степень панегиричности растет вместе с расширением типографского дела. Известно, что одним из первых печатных панегириков стал «Gloria et triumphorum» (Амстердам, 1700 г.), автором ко-



торого являлся И. Ф. Копицкий, правда, принесший автору «много убытков». С этого момента панегирическая литература начинает набирать масштабы: именно с патетической форме начинается диалог писателя и власти. Здесь, конечно, особая роль принадлежит Ф. Прокоповичу, выполнявшему порученную задачу по созданию литературно-идеологического аппарата Империи, но в рамках этого «государственного заказа» происходили позитивные сдвиги: власть стала прислушиваться к литературе.

Конечно, идеальными отношениями императорской власти и творческой «интеллигенции» назвать нельзя. Известно, Петр Первый «разогнал» почти всех художников и иконописцев, работавших в Оружейной палате, позднее Екатерина Вторая характеризовала Сумарокова как лишенного способности постигнуть во всей полноте общий смысл государственных задач именно потому, что он являлся поэтом, Радищев же был обличаем как клятвопреступник, предавший дворянскую клятву верности государыне. Ряд можно продолжать общеизвестными деструктивными фактами: Кантемир был отправлен в почетную ссылку, Эмин покончил жизнь самоубийством, Сумароков умер в нищете и пьянстве, Державин был под судом, Новиков умер в Шлиссербургской крепости, Княжнин сошел с ума после допроса у палача Шишковского, Радищев отравился...

Но постепенно приходит в социально-государственное сознание понимание особой и важной роли литературы и писателя в установлении стабильности и гармоничности общественных отношений. Этот процесс начнет Петр с указания в 1708 г. написать «Историю России с древнейших времен», причем историю литературно оформленную. М. М. Богословский утверждал, что «Петра Великого очень занимала мысль о составлении истории России» [10, с. 429]. Удастся сделать это только Карамзину практически только через столетие, но попытки обоснования историко-литературной концепции писателя можно обнаружить и у Ломоносова, и у Тредиаковского, и у Новикова...

Главным результатом начавшегося диалога литературы и власти становится признание за художественной литературой сакрального значения, признание литературы как особого механизма изменения общества. Тредиаковский в статье «Мнение о начале поэзии и стихов вообще» (1752) практически опровергает мнение Петра о «бесполезности» художественной литературы, настаивая на восприятии поэзии как сакрального действия. Тредиаковский призывал вернуться к античному отношению к поэзии, т. е. к тому времени, когда «поэт усмирал тигров». С помощью литературы, был убежден Тредиаковский, можно и должно изменять время.

Если традиционно государственная власть основывалась на страхе, то власть литературная, напротив, была направлена на преодоление различных форм фобий.

Одной из первых литературно оформленных попыток преодолеть тотальный страх можно считать трактат С. Яворского «Знамения пришествия Антихриста и кончины века» (1703), в котором он опровергал эсхатологические и деструктивные фобии, связанные с легендами о царе-Антихристе.

Постепенно растущая гуманность во взаимоотношениях между властью и обществом обуславливала и изменения антифобийной направленности литературы. В середине века акценты в определении страха уже расставляются по-иному: теперь главным является не страх перед неумолимостью государства, а внутренний страх, мешающий гражданину полноценно выполнить свой долг. Так, в 1755 г. в журнале М. В. Ломоносова «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих» появляется «Письмо о производимом действии музыкою в сердце человеческого», где автор статьи в литературной форме рассказывает о влиянии барабанного боя на преодоление страха смерти в бою. В следующем, 1756 г., в том же журнале появится «Отечественное наставление сыну, желающему определиться в военную службу», где также обстоятельно повествуется о психологических «методиках» преодоления страха.

Под влиянием изменяющегося понимания роли писательства страх в общественном сознании приобретает эстетизированную форму. Во времена Екатерины II культивируется эстетически препарированная идея нового понимания страха: страх наказания страшнее самого наказания. Потому-то дознаватели екатерининской эпохи



запутывали пыткой допрашиваемых, но, как правило, не применяли непосредственного насилия. В делах В. Миновича, П. Хрущева, С. Гурьева, Д. Салтыковой – даже в «пугачевском деле»! – страх перед пыткой становится фактом морального воздействия, но не реально физического.

Одновременно литература вместо культивирования страха и выражения радости по поводу роста страха в обществе превращается в «гимн земной жизни», в «радость человека, освободившегося от страха смерти» [11, с. 32]. И потому Державин в «Изображении Фелицы» как высшее монаршее призвание обозначит милосердную «тишину», а эпиграфом к первой части своих сочинений возьмет из Тацита: «О время благополучное и редкое, когда мыслить и говорить не воспрещалось». Радищев, еще до опалы, в «Житии Федора Ушакова» будет говорить о времени, когда «мягкосердие начинало писать в России законы, оставя все изветы лютои прежных» [12, с. 644].

Противодействие насилию в различных формах становится одной из ведущих антидеструктивных задач художественной литературы XVIII в. Когда придворный савонник Баскаков, делая пометки на полях «Наказа», предложил оставить пытку, Екатерина ответила: «О сем слышно не можно, и казус не казус, где человечество страждет». И более развернуто конкретизировала свою антидеструктивную позицию в журнале «Всякая всячина»: «Суровость есть страсть бесчеловечная... скверное удовольствие находить веселие беса в страдании другого». И, видимо, потому Екатерина пишет именно комедии, предпочитая не кнут, а смех: урок, явно усвоенный из классицистических комедий.

Создание «читателя» как формы социального поведения характерно для XVIII в. Здесь особое значение получает тиражирование, доступность книг, при этом «тираж учитывает, сколько читателей должно быть, а не их реальное количество... писатель не следит за культурной ситуацией, а активно создает ее» (Ю. М. Лотман). Показательно, что именно во время правления Екатерины II развивается «неполезное чтение» [13], развлекательная культура пробивает себе дорогу в культурном поле России даже в количественном отношении. По подсчетам В. В. Сиповского, если в 1725-1732 гг. в год издавалось одно-два, а то и вообще ни одного названия беллетристических произведений (хотя у Ф. Прокоповича в библиотеке насчитывалось 3192 названия книг), то уже в 1786-1796 гг. от 100 до 248 названий в год [14].

Постепенно писательский труд обретает цель, как ее сформулирует Тредиаковский – «делать человекoв лучше». А потому так растет в обществе уверенность в возможностях культуры преодолеть деструктивные тенденции. А. В. Храповицкий, олицетворяя эту социальную чаяние и веру в преодоление проблем ненасильственным путем, в 1782 г. писал: «...в 60 лет все расколы исчезнут... тут насилия не надо» [1, с. 575]. При этом особая роль в снижении деструктивности явно отводится писателям.

Но в XVIII в. появляется новая социальная «группа» писателей – писатели-монархи.

В русской литературе, конечно, существовала традиция написания тех или иных произведений представителями высшей власти. Кстати, именно Екатерина II «выступала против утверждений о полном невежестве русских до Петра, оспаривая необходимость противопоставления допетровской и новой Руси» [15, с. 10]. Из литературного прошлого князей и царей на Руси можно вспомнить дидактико-этическую прозу Ярослава Мудрого, «Поучение» Владимира Мономаха, яркую стилистику посланий Ивана Грозного, отдельные произведения Алексея Михайловича... Но именно XVIII в. дает нам образцы литературного творчества монархов, сознательно примеряющих на себя образ писателя.

Представление о писательстве в начале и во второй половине века у монархов было различным. Петр создает прежде всего официозную, нормативную «литературу». В списке его произведений отличающиеся большой живостью языка приказы, технические указания, «Артикул воинский» 1722 г., написанием которого напряженно, «ежевечернее», занимался император, записки в различные государственный структуры, историографический трактат «История Свейской войны» и пр. Восприятие



себя писателем у Петра носило характер отождествления с Ю. Цезарем и его «Записками о Галльской войне», видимо, этот исторический персонаж являлся образцом, по которому Петр выстраивал свое писательское действо. Вообще стилистика Петра формировалась под влиянием воинского лаконизма, для него слово – прежде всего приказание, принуждение, слово-насилие. Для Петра неразделимы «слово и дело», за словом должно следовать сразу действие. Но все-таки в полной мере признать в Петре литератора трудно: культура его времени и сам Петр еще не «созрели» до цивилизованного представления о литературе.

Екатерина II представляет новый тип писателя – писатель на троне. Большое количество подлинно литературных произведений, оставленных императрицей, подтверждают серьезные изменения, произошедшие в общественном сознании. «В период Екатерины, – отмечает Ю. М. Лотман, – правительство выступало в роли не заказчика, а соучастника литературы» [1, с. 104]. При этом хотелось бы отметить, что это была литература женская, с присущим такой литературе своеобразием. Целый ряд женщин на российском престоле в XVIII в. значительно изменил менталитет верховной власти. Феминизация престола и культуры в целом накладывал свой отпечаток.

Именно к концу XVIII в. относится такой культурный факт, как «женская библиотека», женщина становится читателем, а в случае с императрицей Екатериной, и писателем. Уместно вспомнить и княгиню Екатерину Дашкову, ставшую директором Академии наук и пробовавшей себя также на писательском поприще. Естественно, что феминизация читательского интереса приводила к расширению той же любовной тематики в художественных произведениях. Женская тема отчетливо прослеживается в творчестве Сумарокова, утверждавшего в «Дмитрии Самозванце» равенство полов в любви, Хераскова, воспевшего силу любви в одноименном стихотворении, и многих других. Тема любви была захватывающей и для императрицы-писательницы и для простых читательниц, вместе с тем эта тема выводило общество из-под гнета тотального насилия, позволяла пропагандировать антинасилие в межличностных отношениях.

Тем самым, культура XVIII в. превращается в культуру «готового слова» (А. Михайлов), в культуру уже оформленных образцов, а задачей литературы становится «озвучивание» в антидеструктивных тональностях этих образцов. Так, Сумароков утверждал, что «литература должна изображать не живых людей... а тот идеал, который создается разумом поэта» [12, с. 17]. «Рецептурная» функция литературы ясно проявляется в «Лечебнике» Новикова, В. И. Лукин целенаправленно создает «Мота, любовь исправленного», в котором главный герой – «образец, для произведения себе подобных». Стародум Фонвизина перерастает рамки «Недоросля» и получает вторую литературную «жизнь» уже в качестве советчика-героя периодического сочинения «Друг честных людей или Стародум», предлагающего реальные «рецепты» жизнеустройства, и эту же цель преследует его же «Опыт российского словника», который представляет морально-этический «гlossарий», способствующий формированию антидеструктивных общественных понятий. Уже на первых этапах перед литературой встает задача «не возбудить, а убедить человека» [6, с. 77], причем сделать это не средствами средневековой экзальтации, а рационализированными методами Нового времени.

Перед Империей Петра и Екатерины стояла задача преодолеть стихийное наследие, бродящее в социальном сознании еще со Смутного времени, после катаклизмов «бунташного» века. Одной из главных идеологических задач литературы было оторвать от иррационального прошлого «век нынешний». «Общее официальное отношение власти к истории состояло в том, – говорит Е. Анисимов, – чтобы заставить людей жить только сегодняшним, идеологически одобренным днем» [2, с. 61]. На этом пути становятся ясными задачи, которые формулировал Ломоносов, в частности, для риторики: «учить, услаждать, поражать воображение» [16]. А потому писатели XVIII столетия были теми, «кто уводил человека из распатанного, внушающего ужас мира... давалось это ценой упрощений» [1, с. 654]. Естественно, что впоследствии возникает негативная реакция на тоталь-



ное регламентирование социальной сферы. Так, Державин скажет в конце века, правда, повторяя уже забытого к тому времени Германа Тугона, что «человек выше титула» [17, с. 69], при этом надо помнить, что Екатерина II принципиально отказалась от предложенного ей титула «Мать Отечества. Скорее сама титулованность будет подвергаться пародированию и негативным интерпретациям, как, например, в случае переосмысления титула Потемкина «светлейший»: его называли «князем тьмы»...

Важной заслугой литературы в течение XVIII в. стало то, что общество научилось смотреть на себя как на некий текст, обязательно включающий гуманность, причем степень осознанности этой социальной «о-текстовки» все более вырастала. В эпоху Екатерины уважение законов поддерживалось не топором и дыбой, не страданием, а соответствием этих законов общечеловеческому стремлению к счастью. Законы «мечтательного государства», а не государства плахи – такие законы могла помочь создать только художественная культура.

И нынешняя культурная ситуация «дезинтеграционного кризиса» XXI в., когда литература «исчезает», «умирает», «деградирует», – возможно, сможет обрести позитивный импульс, обратившись к антидеструктивному опыту литературы века XVIII.

Список литературы

1. Лотман Ю. М. Очерки по истории русской культуры 18-нач. 19 в. // Из истории русской культуры. Т. 4. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 832 с.
2. Анисимов Е. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII в. – М.: Новое литературное обозрение, 1999. – 720 с.
3. Топоров В. Н. Московские люди XVII в. // Из истории культуры XVII-нач. XVIII в. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 832 с.
4. Панегирическая литература петровского времени. – М.: Наука, 1979. – 310 с.
5. Ломоносов М. В. Избранная проза. – Л.: Советская Россия, 1984. – 280 с.
6. Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII в. Сборник. – Л.: Наука, 1974. – 184 с.
7. Ломоносов М. В. Избранные произведения. – М.-Л.: Сов. писатель, 1965. – 206 с.
8. Левитт М. К истории текста «Двух эпистол А. П. Сумарокова // Маргиналии русских писателей XVIII. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. – 80 с.
9. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков: Эпохи и стили. – Л.: Наука, 1973. – 254 с.
10. Петр Первый: pro et contra. Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. – М.: Изд. Русского Христианского гуманитарного института, 2003. – 1024 с.
11. Сиповский В. В. Русская лирика. – Вып. 1., XVIII в. – СПб., 1914. – 161 с.
12. Русская литература XVIII в. Хрестоматия. – Л.: Просвещение, 1970. – 828 с.
13. Малек Е. «Неполезное чтение» в России 17-18 вв. – Варшава, 1992. – 156 с.
14. Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа. В двух томах. – СПб., 1909-1910.
15. Европейское просвещение и цивилизация России. – М.: Наука, 2004. – 356 с.
16. Бухаркин П. Е. Риторическое смыслообразование в оде Ломоносова: между однозначностью логики и полсемией языка // XVIII в. Сборник 24. – СПб.: Наука, 2006. – 402 с.
17. Державин Г. Р. Стихотворения. М.: Художественная литература, 1958. – 562 с.

LETTER AND VIOLENCE: THE FORMATION OF ANTIDESTRUCTIVE CONCEPT OF PERSONALITY OF THE WRITER IN THE LITERATURE OF THE XVIII-th CENTURY

S. A. Kolesnikov

*Belgorod National
Research University*

*e-mail:
SKolesnikov@bsu.edu.ru*

The article discusses the questions of formation of the antidestructive concept of the writer's personality in the art of the XVIII-th century. It also considers the analysis of change of violence level in the Russian society and the role of fiction in this process.

Key words: Russian literature of the XVIII-th century, destructiveness, fiction, concept of writer's personality, Peter I, Catherine II.